

Большая любовь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Большая любовь. Максим Горький

Казначей Матушкин не любил свою дочь, и были у него на то законные причины: двадцать лет назад, служа в губернии чиновником контрольной палаты, будучи хорошо замечен начальством и уверенно мечтая о большой карьере, он женился на дочери разорившегося помещика Кандаурова, а через три месяца после свадьбы ему довелось пережить такую сцену.

Однажды зимою, возвратясь со службы, он подошёл к двери в маленькую комнату молодой жены и замер на пороге, онемев от испуга, обиды, от горя: весь свет лампы, накрытой абажуром, падал со стола на тонкую и гибкую фигурку Варвары Дмитриевны, она стояла на коленях и, молитвенно сложив руки, говорила незнакомым голосом:

– Вы не должны терять веру, вы не должны гасить сомнениями эту великую любовь, – боже мой, как хотела бы я идти с вами и каждую минуту, всегда, до могилы помогать вам...

На диване сидел товарищ тестя, политический ссыльный Муханов, богатырь ростом, ласковый и мягкий человек, уже седой, несмотря на свои сорок лет. Он старался приподнять женщину с пола и взволнованно убеждал её:

– Встаньте, Варя, ну вас к богу! Спасибо вам, пристыдили вы меня.

И, приподняв маленькое, ещё девичье тело, он крепко обнял его большими руками, а потом, целуя женщину в лоб, дважды звучно сказал:

– Милая вы моя, милая моя...

Сначала Матушкин смутно и мимолётно почувствовал в этой сцене что-то человечески светлое и доброе, что-то ласково тронувшее его за сердце, но вдруг увидел в зеркале своё отражение: подавленное, сутулое тело, жалкое, опрокинутое лицо, с полуоткрытым ртом и растерянно мигавшими глазами, – в груди у него как бы вдруг лопнуло что-то, сердце облилось глгучим потоком обиды и негодования:

– Это что? – спросил он, задыхаясь. – Как вы смеете, вы...

В ответ ему Муханов, обняв его жену за плечи, начал говорить что-то о чистоте души русской женщины, о своей усталости, о том, что Варя – он так и назвал, Варя – разрушила его сомнения, оживила лучшие надежды, – говорил он строго и громко, точно декламируя стихи Некрасова, лицо у него пылало и глаза были увлажнены.

– Ступайте вон! – глухо сказал Матушкин. – Вон, без слов!

Жена, бросившись к нему, испуганно крикнула:

– Сергей, что ты?

А Муханов, разводя руками, удивлённо пробасил:

– Послушайте, батенька...

«Кажется, я не то, не так», – мельком и пугливо подумал Матушкин, но оттолкнул жену и осевшим голосом снова сказал:

– Вон, говорю я!

Варвара Дмитриевна, рыдая, упала на стул, а Муханов страшно выкатил глаза, схватил Матушкина за руку, дёргал его из стороны в сторону и оглушительно орал:

– Вы – дурак! Просите у неё прощенья! Разве я похож на селадона[1], чёрт вас возьми!

Матушкин крепко ударился затылком о косяк двери, сел на пол и, молча глядя, как бьётся в рыданиях тело жены, махал рукою, указывая Муханову на дверь.

– Я не могу, не могу, – кричала жена, закрыв лицо руками, а ему казалось, что она смеётся.

– Уведите меня к папе...

– Конечно, вы должны уйти от этого господина, – решил Муханов.

И они ушли.

Четыре дня Матушкин сидел дома, сказавшись больным и не зная, что ему делать. Он не сомневался в измене жены, но не мог объяснить себе – почему?

«Я ей нравился», – думал он, вспоминая её ласки.

Часами стоял перед зеркалом, внимательно и сумрачно разглядывая своё приличное лицо: оно было строго обтянуто чиновничьей кожей, обесцвеченной воздухом канцелярии, на нём даже и теперь неподвижно застыло солидное выражение уверенности человека в своих достоинствах. И вся фигура была солидная: крепкая, на широких костях.

Нестерпимо больно было ему вспоминать себя таким, как он отразился в зеркале: испуганным, удивлённым и жалким, и в то же время он всем телом чувствовал, что страстно, неисчерпаемо любит жену, что в этой любви сгорают все его планы, расчёты и надежды, в ней – всё его самолюбие и оно настойчиво требует победы над женщиной.

«Почему? – думал Матушкин, крепко потирая лоб, и с холодным отчаянием в груди считал: – Мне – тридцать один год, ей восемнадцать, а ему – с лишком сорок. Седой... Однако – о чём же, кроме любви, можно говорить так, как они говорили?»

Ему хотелось увидеть жену, поговорить с нею, но та сила, которую он считал чувством собственного достоинства, властно удерживала его:

«Не надо поддаваться. Это слабость...»

Закрыв глаза, он вспоминал жену – маленькую, стройную, её волосы причёсаны гладко, заплетены в косу и образуют на затылке пышный золотистый узел. У неё красноречивые и бойкие ручки, тонкое овальное лицо, может быть – слишком серьёзное для её возраста, но светло-голубые глаза улыбаются мягко и наивно. В этой улыбке всегда есть что-то возбуждающее тревогу, – она является часто, но, быстро ускользая, не даёт понять её, остаётся неопределённой. И Матушкин думает:

«Смеётся потому, должно быть, что сознаёт своё превосходство над мужем, плебеем».

На пятый день пришёл отец Матушкина, изукрашенный медалями седой унтер, и, слишком часто нюхая табак, сообщил, что гимназисты седьмого и восьмого класса с наслаждением рассказывают в подробностях о том, как недавняя их подруга, Варя Кандаурова, изменила мужу.

– А уж если о чём гимназисты говорят – это весь свет знает... Ты, Сергей, не очень всё-таки гневайся. Женщина всегда старается мужа надуть, это как служащий хозяина всё равно...

Проводив отца, Матушкин написал прошение о переводе в другой город, сам снёс его на почту, отправился в дом тестя и был до глубины души потрясён встречей с женою: она бросилась ему на шею и, до боли крепко обнимая его, стала упрекать, смеясь, плача, жалуясь:

– Как ты оскорбил меня!

И спрашивала, смущённо заглядывая в глаза мужа:

– Ты очень сильно любишь меня?

Он растерялся, ему хотелось встать пред нею на колени, сжимая её хрупкое тело, он говорил с удивлением и стыдом:

– Я сам не знал, что так сильно. Очень мучился без тебя... я самолюбив... испугался...

После этого с месяц времени они жили уединённо, почти не выходя из дома, оба охваченные взрывом молодой страсти, жили торопливо, как бы предчувствуя, что огонь скоро погаснет, и стараясь найти за ним нечто более прочное и устойчивое.

Но часто жена, утомлённая ласками, молча, мечтая, с улыбкой, едва заметной на бледном лице, смотрела куда-то сквозь стены вдаль подозрительно неподвижным и пристальным взглядом тёмно-голубых добрых глаз.

Матушкин чувствовал, что в сердце ему тонкою иглой вонзается страх и будит ревность.

– О чём думаешь? – внезапно и громко спрашивал он.

– Ах, Серёжа, – какие люди есть у нас в России, какие удивительные люди!

Она не умела толково рассказать мужу свои думы и говорила что-то бессвязное, наивное, подобное детской [сказке], а Сергей Матушкин сказкам не верил, не знал их и не любил: с лишком два десятка лет изо дня в день он наблюдал однообразное вращение тяжкого колеса суровых буден, привык спокойно слышать скучные стоны и жалобы людей, знал, сколько терпения и упорства требует жизнь от человека, как любит она унижить его и как спокойно уничтожает того, кто, не выдержав её толчков, упал.

Слыша в речах жены веру, чуждую ему, он беспокоился, осторожно стараясь погасить эту веру, ласково говорил:

– Всё это – так себе, Варя, это больше для самоутешения выдуманно: очень трудно жить, и люди выдумывают будущее. Мне кажется, это даже вредно – думать о будущем, особенно для нас, людей простых, чернорабочих государства, право. Идёт ли для нас будущее дальше завтрашнего дня? Надо жить спокойнее, умнее, надо сначала устроить хорошее, удобное сегодня, а потом уж исподволь готовить ещё лучшее завтра...

Она, глядя в лицо ему любящими глазами, вдумчиво слушала мягкую речь, но порою её тонкие брови недоуменно вздрагивали.

– Твой отец и Муханов – дворяне, – говорил муж более строго и уверенно, – им неловко жить без мечты о лучшем, потому что в недавнем прошлом их деды и отцы жили слишком хорошо. А мы – я, например, человек вчерашнего дня, и вчера я жил хуже, чем сегодня; нашему брату необходимо много работать, для того чтоб вращать в землю, быть признанными жизнью, нам мечтать некогда и вредно...

Возникали споры, и Сергей Матушкин со страхом и обидой чувствовал, что его простые, неотразимые мысли, внушённые самой жизнью, – раздражают жену, непонятны ей и что мечта для неё и светлее и дороже его правды.

Во время споров она всегда забивалась куда-нибудь в уголок, трепетала там, точно маленькая белая птица, звонко, упрямо и смешно вскрикивая:

– Нет, это не мечта, это необходимо! Это правда будущего, без неё жизнь не имеет смысла, – как ты не понимаешь?

Иногда она, взволнованная до слёз, обнимала мужа и с тоской говорила ему:

– Серёжа, Серёжа, – у тебя сердце в железной клетке! И мысли твои – такие прямые, как железные прутья, и все они – неверные, – их надо уничтожить!

Матушкин крепко потирал широкий лоб и морщился: слова жены казались ему книжными, наивными, он стыдился бы говорить таким языком.

И всё чаще он думал о том, что неудачно женился, что Варя не поймёт тех ударов жизни, которыми выкованы его прямые, твёрдые, короткие мысли, что она любит его телом и чужда ему душой. Муханов и подобные ему люди всегда будут ближе ей и будут помехой его задаче создать жизнь устойчивую и способную отразить все удары судьбы, оборонить его от всех случайностей.

«Сначала она перестанет уважать меня, потом разлюбит», – соображал он, а сам любил жену всё больше, и ревность его росла, вызывая порою озлобление и всегда – унижительные мысли.

«О ком она думает, обнимая меня?» – спрашивал он.

Когда она радостно и гордо сказала ему о своей беременности, он смутился и стал скучно говорить, что теперь она не должна волноваться, не должна думать ни о чём, кроме ребёнка. Говорил разумно, долго, – пока она не заплакала от холода его речи, а ему эти слёзы показались подозрительными, он почувствовал в них что-то сиротское, обидное.

«Перестает любить...»

Вскоре он получил перевод в окуровское казначейство.

– Почему? – удивлённо спросила жена.

– Я сам просил.

– Но – почему?

– Видишь ли, после этой истории неловко оставаться здесь.

– Неловко? – тихо переспросила она. – Но ведь ты признаёшь то, чего не было? Ведь ты этим унижаешь себя? Как ты мог уступить грязным сплетням? Сергей, – что ты делаешь?

Он остановил её возбуждённую речь.

– Стой, Варя, давай объяснимся раз навсегда. Я – сын сторожа, бесхарактернейшего человека, моя мать – была кухаркой инспектора гимназии, она страдала истерией и пила водку. Я рано понял, что они оба не могут дать мне ничего, кроме стыда за них. Я рассказываю тебе мою жизнь, она не легка, не весела. Лет пятнадцать я был героем, сначала боролся за право учиться и кусок хлеба, потом за право работать. Теперь я признан хорошим работником, от меня не требуется больше геройства, и сам я не хочу ничего героического, я имею право жить спокойно, жизнь нуждается в простых, порядочных людях – вот и всё.

– Я не верю тебе! – вскричала она, раздражаясь.

– Варя, – поверь – жизнь не опера, а я не тенор, – сказал он, насильно усмехаясь, и спустя неделю они были в Окурове.

Им понравился пёстрый малолюдный городок, подобный лукошку с грибами, забытому в поле на меже.

«Здесь человека видно», – думал Матушкин, вопросительно заглядывая в глаза жены, а она тихо улыбалась какой-то новой улыбкой, неуверенной и тотчас убегающей с лица.

Они поселились в маленьком, уютном домике за густым занавесом палисадника, к дому примыкал небольшой фруктовый сад, окружённый высоким забором, посредине сада росли две огромные, старые липы, осеняя тенью яблони, вишню и кусты ягод.

– Какой смешной город, – рассуждала Варвара Дмитриевна, заботливо украшая четыре комнаты дома. – Он мне напоминает горбатого карлика-шута с какой-то картины...

Матушкин, усердно передвигая с места на место сундуки и комоды, был доволен и бормотал:

– Может быть, может быть...

– Что – может быть?

– Не знаю, Варя... может быть хорошее что-нибудь...

– Ага, и ты мечтаешь!

– Разве? Нет, я рассуждаю..

Назойливо наивное любопытство обывателей сначала трогало женщину:

– Какие они простые и милые! – восклицала она. – Знаешь, когда мы устроимся, я познакомлюсь с молодёжью здешней, соберу кружок, буду читать русскую литературу...

Но через малое время она заметила:

– А они – недоверчивы, знаешь? Очень. И какие-то подозрительные – точно это не люди, а самозванцы и всегда боятся, как бы не узнали, кто они на самом деле...

Подобные речи жены заставляли Матушкина опасливо ёжиться, – он не понимал, как может она, полурёбенок, говорить эти фразы, в которых чувствовалась пугающая прозорливость.

Прошло несколько недель – наступили багровые осенние вечера, – Матушкины, <выходя в поле, за монастырь, смотрели, как линючее и белёсое окуровское небо рдеет в лучах заката и красное важное солнце опускается в болото, щедро покрывая тёмно-синюю щетину ельника тусклым золотом и багрецом. Клочковатые комья серых туч разорваны огненными ручьями жёлтых и пурпуровых красок, струится в небе расплавленное золото, в густом и синем дыме туч вспыхивает и гаснет кроваво-красное пламя. Солнечный луч, точно перст господень, направлен в глубь земли.

Стоя на холме, женщина широко открытыми глазами оглядывается вокруг – горизонт опоясан широкой чёрной полосой леса, одиноко маячит на холмах десяток берёз столбовой дороги, земля – чёрная и рыжая, светлые изгибы и петли реки окрашены в красный, розовый и жёлтый цвета, – хвастается осень богатством своим.

Но скучно в поле, скучно и холодно. Над полем, звеня, мелькают ласточки, чёрной точкой стоит в небе коршун, стадо идёт – густо и лениво мычат коровы, заунывно играет на свирели дурашливый пастух Никодим, в монастыре бьют колокола, призывая ко всеобщей, из города, согнувшись и качаясь на ногах, идут старушки встречу стаду, а в городе с восхода солнца непрерывно набивают обручи.>

Слушая извечные три и два удара, женщина подчиняется их чередности и печально говорит, указывая на пылающее небо:

– Мне кажется, что чувства и мысли больших людей – вот такие же...

Тёмное, огромное болото быстро всасывает лучи солнца, небо полиняло, тучи разрослись и ползут на город, сиротливо прижавшийся к земле в центре пустынного круга. Сухой осенний ветер озабоченно летает по полю, разнося семена трав, шуршит сухим бурьяном у монастырской ограды, вздыхает, что-то шепчет.

Матушкины тихо идут домой.

– Вот обживёмся мы здесь, – говорит муж, поддерживая под руку беременную жену, – познакомимся с людьми, которые получше. И постепенно...

<Жена молчит, глядя в небо, опрокинутое над ней, и на город, который точно недоверчиво сжимается, становясь тем меньше, чем ближе подходишь к нему.

В долгие осенние ночи он точно исчезал с лица земли. Изредка в затаённой тишине вздрагивал и ныл монастырский колокол, отбивая часы, сторож у Николы тоже торопливо дёргал веревку, и она всегда дважды и громко заставляла взвизгнуть лист железа на крыше колокольни. Разбуженные унылыми стонами меди, дремотно тявкали собаки, и снова город словно опускался на дно омота.

Иногда, поздней ночью, под окнами раздавался крик и шум: это идёт домой пьяница слесарь Коптев, – идёт, шаркая плечом о заборы, и кричит:

– Н-ну, вино-оват! Ну, на же, виноват я. Поля! Палагея, – ох, как я виновен! Бей, на, потрудись, виноват я!>

Варваре Матушкиной казалось, что в безнадежной тишине ночей робко существует волнение каких-то темных и светлых сил, что-то тоскливо доживает последние дни и часы и медленно нарождается нечто новое.

Но скоро она присмотрелась к медленному течению дней и ночей в сиротском городе, вслушалась в однообразие звуков его жизни, и в молодое, неокрепшее сердце незаметно просочилась тихая, задумчивая скорбь.

Жили одиноко. Матушкин, прежде чем ввести жену в окуровское общество, хотел выдержать её, подготовить к новой, чуждой ей среде, беременность её была удобным предложением для того, чтоб не ходить в гости и не приглашать их к себе.

– Ты бы выписал книг, Сергей, – предложила она ему.

– Книг? – задумчиво переспросил он. – Каких же книг?

И стал озабоченно потирать свой жёлтый лоб со взлизами лысины на висках.

– По русской литературе...

– Всякая книга – литература, это мне ничего не объясняет, ты знаешь – я не очень сведущ в литературе. Сделаем так: я напишу Дьяконову, он большой книжник, пусть составит список лучшего... а ты выберешь...

– Я сама составлю. Дьяконов – это который всегда ухмыляется, рябой?

– Да.

– Почему он такой – скептик, не верующий ни во что?

– Н-не знаю. Он очень много перенёс, он тоже из бедной семьи...

– Скучные вы, из бедных семей, – негромко сказала Варвара Дмитриевна. – Мне кажется, что переоценили вы ваши усилия добиться сытого куска, а когда добились его – переоценили кусок. Самолюбивые вы.

Он взглянул на неё удивлённо и обиженно: «Как может она, почти ребёнок, говорить столь смело?» – подумалось ему.

Вздыхнув, он заметил:

– Когда родится ребёнок, тебе, вероятно, будет веселее...

Он долго переписывался с Дьяконовым, и наконец из губернии пришли книги Крестовского, Незлобина, Маркевича, Головина – все в одинаковых чёрных переплётах с красными корешками.

– Зачем ты выписал этих? – недоумевающая и негодуя, спросила Варвара Дмитриевна.

– Видишь ли, Варя, – ласково объяснил ей муж, – ты уже читала много книг другого толка, послушай же, что говорится против. Это необходимо для справедливости суждения. Справедливость – это среднее между двумя крайностями. И потом, для меня, по моему положению, обязательно иметь этих писателей, – так и Дьяконов говорит, – они оправдывают чтение либеральных авторов. Я выписал также и «Русский вестник». Ты знаешь, какое теперь время...

– А где мой список? – спросила она.

– У меня. Потом выпишем и по твоему списку.

Она опустила голову и с того дня стала ещё более молчалива.

Наступили славные дни потрясающих душу тревог и радостей – родился ребёнок и с первого [дня] жизни своей наполнил дом маленькими страшно важными заботами.

Матушкин видел, что жена отходит от него в сторону, в тихий уголок, где не умолкая звучат её нежные и ласковые песни, он чувствовал себя покинутым, молчал и, завистливо глядя в синие глазки ребёнка, растревлял свою ревность:

«Моя это дочь?»

В доме было скучно, в городе ещё скучней, Матушкин пытался читать «Русский вестник», – серовато-зелёные книжки не утешали его, мелкий, скучный шрифт быстро утомлял глаза, казалось, что напечатанные в книге слова и мысли обладают такими же хвостиками, как буквы, и что самое важное – неопровержимейшие доказательства заблуждений жены – скрыто в этих хвостиках, но докопаться до них было лень.

Исподлобья глядя, как жена, снова тонкая и стройная, возится с ребёнком, ласково и гордо посмеиваясь, он соображал:

«Это она нарочно показывает мне, как много в ней нежности. Но я не буду просить милостыню...»

От скуки, которая становилась всё более густой, от горечи одиночества, подчёркнутого разбитым и болезненно чутким самолюбием, он незаметно сделал ревность к жене своим развлечением.

– Мечтаете? – спрашивал он, поглядывая на жену сухо и остро.

– Да, – отвечала она вызывающе.

– О чём, можно узнать?

– Так, вообще...

– А преимущественно о героях. Вперёд, без страха и сомненья! – ехидно восклицал Матушкин и, чувствуя, что говорит глупо, – злился. – Да-а, – продолжал он, уже почти не отдавая себе отчета, что он говорит. – Аркадий Краснобаев, так, например, зовут героя...

Он плохо знал людей, любезных жене. Говоря о них, всегда видел перед собой ласковые глаза Муханова, ему казалось, что между блеском этих глаз и убегающей в глубину взгляда улыбкой жены есть нечто близкое, родственное.

Однажды во время такой беседы Варвара Дмитриевна подошла к нему и, коснувшись рукой его лба, спросила, строго взглянув в глаза его:

– Что тебе нужно, Сергей?

Неожиданно для себя он сполз со стула, крепко охватил её колени и почти закричал:

– Я тебя люблю. Мне трудно, Варвара! Разве я не стою твоей любви? А ты всё более... ты становишься чужой мне! Что ты делаешь? Так нельзя жить!

Ему было стыдно до боли, он чувствовал себя ещё раз опрокинутым и униженным своей судьбой.

– Разойдёмся, – спокойно глядя голову мужа, предложила она.

Он вскочил, оттолкнув её:

– Значит – верно? Не любишь? Уже? Только? И не стыдишься?

Она два молча прошлась по комнате, прежде чем ответить, потом заговорила, задумчиво и печально:

– Иногда мне кажется, что я тебя люблю особенно глубоко, – может быть, именно так любит мать неудачного сына. Мне думается, что в любви женщины всегда есть чувство матери.

«Вот, – соображал Матушкин, – я страдаю, а она – рассуждает!»

Голос жены казался ему сухим, слова холодными и глупыми, во всей её тонкой фигуре было что-то острое, будившее злую ревность.

Большая любовь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Извини меня, – говорила она, садясь рядом с ним и смущённо краснея, – я не могу скрыть, что иногда, и всё чаще, кажусь сама себе более зрелой, чем ты. Я знаю – это смешно, мне двадцать лет, ты старше, – но что же делать, Сергей?

– А, я понимаю! – пробормотал он, отодвигаясь. – Ты намекаешь на своё дворянство!

– Не знаю, может быть, – сказала она, подумав. – Есть что-то, вызывающее у меня снисхождение к тебе, – я не умею объяснить, что это, я неверно сказала – снисхождение, нет, конечно, – уверяю тебя, – в моём отношении к тебе нет ничего обидного, просто я чувствую себя увереннее и твёрже, чем ты. Ты кажешься мне таким беззащитным, у тебя – слишком много опасений, ты иногда такой – как будто только что приехал откуда-то, всё тебе чужое, и ничто не интересно. А потом твоё самолюбие – оно, точно иглы у ежа, выступает прямо из кожи, до тебя невозможно дотронуться, – ты колешься, ты оскорбляешь меня. Вот и теперь я чувствую, что ни одно слово моё не трогает тебя, ты думаешь: «Девчонка, она меня учит, – меня, который своим лбом...» и так далее. Этот твой лоб...

– Довольно! – сказал он, вскакивая и зло блестя глазами. – Говори прямо – что ты хочешь.

Тогда она, опустив голову, спокойно ответила:

– Мне кажется, что нам на время нужно разойтись... Иного выхода я не вижу... Посмотрим друг на друга издали.

Он убежал из дома, задыхаясь от тоски, поражённый, всю ночь шагал в поле по рыхлому снегу и чёрным весенним проталинам и думал о своей любви: она казалась ему силою враждебной, она разрушала давно обдуманый план жизни, обещая впереди длинный ряд тяжких дней одиночества.

Всего обиднее было то, что он не мог не чувствовать в словах жены о нём какой-то правды и не мог простить ей эту правду. В тёмной глубине его сердца всё ярче разгорался злой огонь ревности, раздуваемый самолюбием человека, претерпевшего много унижений и обид.

Ночь была лунная, по полю бесшумно ползали тени облаков, холмы то поднимались, освещённые голубым сиянием, то опускались, покрываемые тенями, и казалось, что вся земля просыпается, дышит, движется.

«Как глупо всё, все слова эти, все понятия! – думал Матушкин, останавливаясь и оглядываясь вокруг. – Какая она сухая, надутая...»

Сцена с Мухановым вспоминалась всё ярче, откуда-то являлись новые подробности, – маленькие чёрточки, убеждавшие в измене.

И снова шагал, согнувшись, засунув руки в карманы пальто, спотыкаясь, теряя в снегу галоши. А втайне он любовался этой ночной прогулкой, и страдания ревности увеличивали его уважение к себе самому. Должно быть, что-то человеческое перегорело в нём этой ночью.

Наутро он стоял перед женой и говорил ей командующим голосом хозяина:

– Если вы решили уйти от меня – пожалуйста! Но, чтобы сразу предупредить всякие споры и сцены, я объявляю заранее: ребёнок по закону мой.

Варвара Дмитриевна побледнела, вздрогнула и, видимо, для того чтобы скрыть эту дрожь, пожала плечами.

– Без ребёнка я, конечно, не уйду, вы это знаете, – сказала она, некрасиво усмехаясь.

Взбешённый её спокойствием, он закричал:

– Да-с, я это знаю-с, и я пользуюсь этим! Что-с? Подло? Так не поступают Краснобаевы в книжках?

Она была ниже его ростом и, разговаривая с ним, часто вскидывала голову вверх, –



это движение всегда казалось ему гордым и оскорбляло его.

Но на этот раз она даже не посмотрела на него, а отвернулась и быстро ушла в детскую, равнодушно бросив на ходу:

– Тише, Люба ещё спит...

Матушкин схватился за голову, скрипнул зубами и замер в бессильной тоске, в отчаянии.

Скоро он превратился в типичного уездного чиновника и сделал это так легко, точно надел другой сюртук: начал играть в карты, пить водку, сплетничать, натянул на лицо сухую, ироническую улыбку, которая часто становилась глупой и злой; часто уходил в гости, приглашал их к себе и, вызывая поглядывая на жену, философствовал пред ними:

– Мы служим делу, а не мечтам! Для великого дела устройства государства нужны маленькие люди, муравьи нужны, да, а не герои. Муравей полезен государству больше какого-нибудь Герцена!

Его слушатели мало знали о муравьях и Герценах, плохо знали и самого оратора, помавая головами, они смотрели на него и старались понять – чего он добивается, какой опасности можно ожидать от этого человека с большим лбом, беспокойными глазами и нехорошей улыбкой на лице.

– Государство, – громко говорил он, – огромное здание, но построено оно из простейших кирпичей; чем спокойнее лежит кирпич на своём месте, тем долговечней и прочней храм. По фасаду его пущены для красоты разные лепные фигуры – писатели, учёные, артисты и разные иные фокусники, – но не они основа, нет, основа – это мы, простые кирпичи. Чем ниже положен кирпич, тем большая тяжесть на нём, но, [выполняя] свою роль, – он не чувствует тяжести, он гордится ею, он – скажу, наконец, мою мысль до конца – он-то и есть истинный герой, отдающий всю свою жизнь общему благу! Выпьем за кирпич, за живой кирпич, ура-а!

Выпивали и жаловались на невнимание высшего начальства, на плохие оклады, дороговизну жизни, глупость и упрямство обывателей, потом долго и шумно играли в карты, ели поросят, гусей, индюков, пили водку, настоящую на можжевельнике, пили всевозможные наливки и расходились под утро усталые, раздражённые, с нелепыми гримасами на странных лицах.

Скоро Матушкин узнал, что в городе говорят о нём:

– Хвастунишко, хвастается, что гимназию кончил, – дескать, я – образованный и обо всём могу речи говорить! Кабы не это подлое его хвастовство, – так ничего бы парень-то!

Линяя всё быстрее, Матушкин стал реже бриться, забывал чистить ногти, начал толстеть, наливаясь угрюмым равнодушием, и бросил философию – никто её не понимал, и она не достигала главной цели – жена не оспаривала её.

Любезная и внимательная к гостям, она мало разговаривала с ними, никуда не ходила, оправдываясь заботами о ребёнке, и умела как-то быстро погасить интерес обывателей к ней.

– Так себе, дворяночка, пустенькая барынька, – говорили о ней сослуживцы Матушкина своим жёнам.

Иногда, проводив гостей, Матушкин, бледный, подходил к жене и, скрывая в усах нехорошую улыбку, тихо предлагал ей:

– Давай помиримся, а?

– Идите спать, – отвечала она холодно и твёрдо, вскидывая маленькую гордую головку.

– Брось! Всё пустяки! Ей же богу, всё это – одни понятия, литература, бумага! – говорил он, пошатываясь на ногах от вина и волнения. – Разве живой человек дешевле книги, а?

Она спокойно отводила в сторону руки его, простёртые к ней, шла в свою комнату и запиралась там, а он стоял перед дверью, тяжело соображая:

«Почему я не могу ударить её? Удержать, взять насильно? Почему?»

Однажды он крикнул ей:

– Что ж мне – любовницу заводить?

– Это ваше дело, – сказала она.

– Гер-роиня! – зарычал Матушкин.

И наконец успокоился, познакомившись с молодой и толстой купчихой Соедовой, женою разбитого параличом богатого скупщика хлеба, сена и пеньки. У купчихи было фарфоровое – белое и розовое – лицо, круглые небесного цвета глаза, маленький, кукольный рот, и она с первых же дней знакомства подарила ему вышитый бисером кошелек со старинным червонцем на счастье. Матушкин похвастался подарком пред женой, но не вызвал с её стороны ничего, кроме улыбки, оскорбившей его в последний раз.

– Здравствуй, папа! – говорила ему каждое утро толстененькая четырёхлетняя девочка и смотрела в лицо его серьёзным взглядом светлых глаз. Когда он, молча погладив её кудри, прикасался сухими губами к тёплой и атласной коже её лба – девочка заглядывала в глаза ему с улыбкой, он чувствовал в этой улыбке какой-то вопрос, но не хотел понять его и думал, внутренне отталкиваясь от дочери:

«Вот как смотрит... уже обнаруживается чужое, чужая душа. А мать, наверное, внушает ей... да...»

– Покойной ночи, папа! – говорила девочка вечером.

Снова отец молча целовал её и снова хмурился, встречая серьёзный и пытливый взгляд.

«Барская кровь», – соображал он, вспоминая ласковые глаза Муханова.

Когда он сошёлся с купчихой Соедовой – жена сказала ему:

– Я прошу вас – не целуйте Любу.

– Это почему же?

– Я прошу вас, – повторила она, вскинув голову и строго глядя в лицо его.

Подумав, он иронически сказал:

– Тогда не подсылайте её с целью разжалобить меня...

Пожав плечами, жена грустно проговорила:

– Какие пошлости выдумываете вы, Сергей Николаевич!

– Благодаря вам! – заорал он, вскочив на ноги и размахивая руками. – Вы мне душу съели, да, вы сглодали душу мою!

Тогда Варвара Дмитриевна подошла вплоть к нему и, блестя глазами, остановила его бешенство:

– Молчать! – негромко сказала она. – Вы лжёте. Слышите? И никогда не смейте орать на меня!

Он не понимал, как эта маленькая, хрупкая женщина может приказывать ему, обижать его, и, не понимая её силы, стал бояться жены.

...Летом Варвара Дмитриевна часто уходила с дочерью на целые дни в Черёмухинский бор, и почти всегда её сопровождала нянька купца Хряпова с его внуком,

Большая любовь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
пятилетним Ванюшкой. Был он такой же солидный, как Люба, – крепенький мужичок, большелобый, остриженный в скобку. А иногда за ними шагал, толкая перед собой колясочку с безногой и немой Лидочкой, дочерью воинского начальника Будоговского, денщик его, черноусый Нифонт Капендюхин, человек невесёлый.

Приходили к лесу, и где-нибудь на опушке его дети играли в траве, разглядывая близкую им жизнь букашек, а солдат, вздыхая, рассказывал о своей родине и вполголоса задумчиво напевал родные песни.

Тихо качают зелёными лапами огромные душистые сосны, осеня детей пахучей тенью, шуршит, опадая с ветвей, прошлогодняя золотистая хвоя, звенят серые пушистые москочки, стучит дятел, гудят пчёлы и осы, в кустах орешника заливаются красногрудые малиновки и пеночки, в кронах сосен щёлкают клесты, – служит земля свою летнюю обедню, кадит в голубое небо благовонными запахами, и молитвенно тихо льётся в воздухе поток ласкающих душу звуков.

Капендюхин неотрывно смотрит в широкое доброе лицо Марьи, тихонько, певуче выводя мягким голосом сердечные слова песни:

Не дай боже смерти  
В чужині умерти!  
Там ніхто не посумуэ  
О твоєї смерті...

Люба и Ванюшка лежат на земле рядом друг с другом, и девочка, протягивая руку вперёд, таинственно внушает товарищу:

– Ты смотри не вниз, а прямо – так...

– Я знаю, – басом говорит Ваня.

Если лечь грудью на землю и смотреть в зелёные сети трав – глазам откроется множество чудесных вещей, – развернётся пред ними забавная жизнь маленьких умных существ.

Дети знали это; набегавшись, усталые, они подолгу молча и неподвижно наблюдали острыми глазками то, что делалось в траве.

Тяжело покачиваясь на растопыренных лапках, идёт круглый чёрный букан, задевает боками за стебли, золотые и серебристые у корней, кружится, путается, шевелит усиками.

– Это – колдун, – шепчет Люба.

Ванюшка, подумав, говорит:

– Купец. А то – поп!

– Почему?

– Толстый же...

– А колдуны не бывают толстые?

– Я не знаю. Это – купец. Он пьяный, – видишь?

Рубиновая божья коровка долго ползла вверх по стеблю травы, дошла, наконец, до метёлки, раскрыла надкрылья, затрепетала, полетела и, наткнувшись на лист буковицы, свалилась на землю, лежит на спине, перебирая чёрными ножками в воздухе; большеголовый муравей тащит куда-то кусочек рыжей хвои, к нему подбегают другие и, пощупав труженика усиками, озабоченные, бегут дальше.

– Видно – плотник, – соображает Ванюшка, посапывая широким носом.

– Монахиня, – говорит Люба, видя бронзовую жужелицу, а Ванюшка, взяв в руку тонкую былинку, мешает монахине идти своим путём.

– Не трогай, – просит Люба, останавливая его руку, – она домой идёт, а там дети...

На листе подорожника притаился незаметно зелёный лесной клоп, – Ванюшке почему-то кажется, что это «мировой судья»...

Жизнь растёт перед глазами детей, и они, погружённые в созерцание её маленьких чудес, воспринимают их, как букашки: невысокая трава для них уже густой, мощный лес, комок земли – огромный холм, и жуки становятся близки и понятны.

В коляске неподвижно лежит Лида, полуоткрыв большие серые глаза. Марья покачивает зыбкую коляску, тихонько скрипят рессоры, и немолчно раздаётся задумчивый голос черноусого солдата.

Марья, не мигая, смотрит в лицо ему добрым бабьим взглядом и порою просит, смущённо улыбаясь:

– Варвара Митревна, – нуте-ка скажите ему, чтоб он ещё попел чего-нибудь... Уж больно хорошие песни у них, такие жалостные, так сердце и обнимут...

Капендюхин, не ожидая, когда казначейша попросит его, приподнимает густые брови, лицо у него становится удивлённым, и он вполголоса точно шёлковой ниткой вышивает в мягком воздухе красивую песню:

Ой, біда, біда  
Чайці небозі,  
Що вивела діток  
При битій дорозі..

Песня вызывает детей из сказочной зелёной страны, и, разморённые солнцем, они лениво подкатываются к ногам солдата.

Там чумаки йшли,  
Чаэнят найшли,  
Чаэчку загнали,  
Чаэнят забрали...

– жалобно и тихо сказывает Капендюхин, потирая левый глаз, а Марья, опустив голову, сморкается.

Непрерывным, широким потоком над землёю течёт густой и тихий шум жизни. Гудят пчёлы, поют птицы, шелестит трава, сладостно сочными звуками отвечает всему древний хвойный бор, и выше всех, звонче и радостней разливается в голубом жарком небе невидимый жаворонок.

Маленькая девочка Люба, покачивая кудрявой головой, на четвереньках подходит к матери и, влезая на колени к ней, тихонько спрашивает:

– Отчего они плачут?

– Им жалко чайку...

Варвара Дмитриевна сидит с книгой в руках на обнажённом корневище мачтовой сосны, могучая ветвь дерева протянулась в поле, под солнцем, и душистой, узорчатой тенью своих лап осеняет маленькую женщину в сером платье, с добрым и строгим лицом.

Дочь смотрит вверх, вокруг и, улыбаясь, говорит:

– Мам, ты тоже как букашка, ма-аленькая, вот такая – знаешь?

И показывает матери верхний сустав своего мизинца, выпачканного землёй и смолой.

– У дида моего было до двадцати пар волів, – гудит солдат, покачивая головой, – чумаковал он, и отец мой, и оба дядья тоже; отец, когда был ще маленький, ходил за рыбою аж до моря, у самый Крым, сулу возили, чабак и тарань. Сто три года было диду, когда помер он. Да. А перед волей – разорил его помещик, чисто разорил...

Ванюшка, лёжа на коленях солдата, усердно старается закрутить вверх его жёсткие чёрные усы и мешает ему говорить.

– Тоскуете о своей земле? – вздыхая, спрашивает Марья.

– Эх, ненько, ненько! – отвечает солдат, осторожно отводя руку мальчика от усов.  
– Та як же не тоскувати?

– Не говори! – просит Ванюшка.

И всех поочередно измеряет, щупает из коляски странный взгляд немого ребёнка. Голова Лидочки острая, вытянутое личико старообразно, и на нём беспокойно катаются круглые чёрные глаза. Но если на коляску сядет бабочка, муха или какая-нибудь букашка – тёмные зрачки сбегаются к переносью, замрут в остром взгляде, тонкая, сухая ручка осторожно вытягивается к живому существу и если успеет схватить его, то сосредоточенно и медленно обрывает ему ножки, крылья, а когда живое улетит, глаза девочки долго и тоскливо следят за ним.

– Чёртова дура! – кричит мальчик, высывая язык и грозя кулаком.

– Ай, Ванюша, – останавливает его Марья, – разве можно ругаться!

– Дедушка же ругается...

– Лидочка больная ведь, она убогонькая...

– Живодёрка! – бунтует Ваня.

А Люба обиженно просит:

– Мам, не вели ей ловить мух!.. И никого не вели...

Варвара Дмитриевна, успокаивая взволнованных детей, рассказывает им что-нибудь, они оба прижимаются к ней, полудремотно слушают, глядя в её доброе, красивое лицо, и неуловимые словами, тонкие, как золотые паутинки, мудрые думы опутывают их лёгкой сетью.

Капендюхин и Марья в такие минуты незаметно отходят в сторону, за деревья, идут они туда не торопясь, будто нехотя, точно повинувшись чьему-то приказанию, возвращаются, не глядя друг на друга, не то смущённые, не то поссорившиеся.

Но однажды Марья вышла из леса быстро, лицо её было облито слезами, она отирала их со щёк ладонью и, улыбаясь виноватой улыбкой, подошла к Варваре Дмитриевне, опустила на землю около неё и, поцеловав её в плечо, громко всхлинула или засмеялась.

– Ну, побегайте ещё немножко, – торопливо сказала казначейша детям, – а потом – домой! Живо!

– я буду ласточка! – вскрикнула Люба, бросаясь бежать.

– А я – ворон! – объявил Ванюшка, подумав, сел на корточки и, прыгая вслед за подругой, как лягушка, начал басом каркать, а потом поднялся и, тяжело, широко разводя руками, плавно побежал в поле.

– Что, Маша? – ласково спросила казначейша, глядя женщину по голове.

– Милая, – задыхаясь и вся покраснев, начала шептать нянька, – милая вы моя барыня, – согрешили мы! Не думала, не гадала, так – сразу, говорили, говорили, всё о хорошем, да как-то вдруг и обнялись, да крепко-крепко, – ах, мать пресвятая богородица! Как же теперь? Посоветуйте вы мне, поучите вы нас, – что делать-то будем? Боюсь... уж теперь, как переступили, сама я не своя буду и уж не знаю ничего...

Шептала, – а в голосе её и на лице горела пьяная радость, и глаза блестели великим счастьем.

– Дай вам бог добра, – тихо и ласково сказала барыня, – он, кажется, хороший человек...

– Ай, Варвара Митревна, какой славный! Так хорошо на смешном языке говорит – нянька моя! – а я его на три года моложе! «Спасибо, говорит, за ласку вашу», –

это он-то мне! И всё на вы, ей-богу! Нифонт! – радостно и громко закричала она, – идите сюда! Скорее...

А он, наклоня голову, уже стоял сзади них, отковыривая пальцем кору сосны, и на зов Марьи ответил смущённо и виновато:

– Тут, пани Варвара, дело божие; вона, Марья, така гарна людина и стала як сестра рідная мини! И говорим вместе, и молчим вместе. Ту божью мне ласку, той подарок её я ж принимаю честным сердцем, – вы не беспокойтесь, пани, и вы, ненько! Мы – поженимся, – мне ще год семь мисяцев и одиннадцать дній служить, а потом я уже и свободен.

– Голубушка, – перебила Марья, – не могу даже сказать, как жалею его: говорит он про степи, про волов этих – а я реву! Один, сторона чужая, говор другой даже... Думаю – господи...

Варвара Дмитриевна смотрела на них, весело улыбаясь; ей хотелось сказать им какие-то хорошие, на всю жизнь памятные слова, сказать от полного сердца, но в нём тихонько билась маленькая грусть, и было в нём немножко зависти чужому счастью.

Подбежали дети, красные, встрепанные, задыхаясь, свалились на землю, причём Ванюшка больно стукнулся коленом о корень и густо выругался:

– лешай!

Возвращались домой по нагретому солнцем полю, притаптывая увядшую от дневной жары короткую траву дёрна, срывая по дороге бессмертники, белые и розовато-бледные, золотую куриную слепоту и лиловые повилки.

Шли молча, задумчиво и не спеша; иногда солдат предлагал детям:

– А ну, садитесь мне на плечи!

Люба отказывалась, а Ванюша, широко улыбаясь, влезал на шею Капендюхина и, сидя там, покрикивал своим басом:

– Н-но! Шагай!

Из-за холмов поднимались разноцветные крыши города, осенённые тёмной зеленью деревьев, на стёклах слуховых окон блестело солнце, в густом воздухе однотонно плыл небогатый, тихонький шумок уездной жизни.

– Подумайте про нас, милая барыня! – тихо шепчет Марья. – Научите вы нас...

Улыбаясь, барыня так же тихо отвечает:

– Не бойтесь ничего, Маша! Надо любить так, чтобы всем, кто на вас взглянет, хорошо и радостно было и захотели бы люди сами крепко любить! Я не знаю, что сказать вам, я такая, какая-то... бедная...

А Марья жалостно говорит, глядя в лицо барыни добрыми и влажными, точно у лошади, глазами.

– Знаю я, ох знаю житьё ваше сиротское, сердечная вы моя барынюшка!

Насытись солнечным воздухом, напоённая пьяным ароматом леса, усталая от беготни и добрых впечатлений дня – девочка идёт рядом с матерью, чутко слушает её тихие слова и запоминает их, а вечером, лёжа в постели, спрашивает:

– Мам, ты бедная?

– Да.

– И я бедная?

– И ты.

– Это хорошо, если бедные?

– Спи, дружок...

Помолчав, Люба заявляет:

– Я сегодня не умею спать! Почему у тебя нет кольца? – дай руку! – видишь? – нет! А у папы – есть! И часы есть. Он – богатый?

– Не мешай мне спать, Любашка, – шутливо строгим голосом говорит женщина, кутаясь простынёй.

В комнате жарко, ночная бабочка мягко бьётся в стёкла окна, трещит сверчок, и гудят комары, путаясь в кисейном пологе кровати.

– Вовсе ты не хочешь спать потому что... – говорит дочь, влезая на грудь матери, сжимает ей щёки маленькими ладошками и целует в губы.

– Мм-а, вот как поцеловала Любашка мамашку-букашку! – и подпрыгивает на груди, тискает мать и щекочет её, когда та пытается сказать что-нибудь – целует её. Обе смеются, и незаметно девочка засыпает с непогасшей улыбкой на лице.

Идут один за другим уездные дни – не торопясь идут, точно старушки в монастырь ко всенощной. Пёстрое лето незаметно сменяется золотисто-рыжей осенью, зелёный сосновый бор стал скучно тёмным, в поле носится сырой ветер, омывают землю холодные дожди, и вот пришла пышная, белая зима.

В темноте зимних ночей над городом буйно мечется вьюга; шаркая по стёклам белыми крыльями, летают тучи снега, подобные огромным птицам, и разбиваются в мелкую пыль о стены дома, крыши и деревья. Всю ночь слышен мягкий шорох, гудит в трубах, и сторожевой звон церковного колокола исчезает в шуме метели, точно капля масла в кипятке.

Вопросы дочери становятся сложнее, и мать, отклоняя трудные ответы, учит шестилетнюю дочь грамоте, а чтобы ей не скучно было одной – с нею вместе учится Ванюшка Хряпов. Дело идёт хорошо, Люба быстро постигает премудрость чтения и письма, пачкает чернилами и пальцы и нос, Ванюшка хмурится, басит ещё гуще, чем летом, пишет вместо буквы «р» везде твёрдый знак, верёвка у него выходит въевка, верхом – вьхом.

Когда учительница объясняет, что это не так, он солидно спорит:

– А как же? «Ер» – в нём сразу две буквы, я и пишу ер, чтобы скорее было написано... Нету ера? А дедушка говорит – есть он? В конце слов? Мм...

Люба, торжествуя, смеётся, а её товарищ, вытаращив глаза, долго смотрит в тетрадку и наконец уверенно говорит:

– В конце тоже нельзя ер ставить, тогда всё спутается и я буду уж не Иван, а Иванер...

Мать и дочь хохочут, он смотрит на них сначала немножко обиженно, а потом сам начинает хохотать, широко раскрывая рот и взмахивая большой головой.

Он человек спокойный, добродушный, но несколько теряющийся в разных противоречиях между весёлым седеньким дедушкой и ласковой казначейшей, которую он любит.

Дедушка у него человек сухонький и прямой, он сделан наскоро, но, видимо, и прочно и ловко, а на его маленьком лице всегда такое выражение, как будто этот удобный игрушечный человек всегда думает про себя: «Ну что, взяли? То-то!»

Катались на салазках с горы, устроенной на дворе Хряпова, но подул сильный ветер, детей позвали в комнаты старика, – и они с ним сидели на тёплой лежанке – Ваня с одной стороны, Люба с другой.

Он и дедушку любит; однажды на вопрос его: «Кем ты у меня, Ванёк, будешь, когда вырастешь?» – Ваня, играя шёлковыми волосами длинной, как у святого, дедовой

Большая любовь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
бороды, ответил уверенно и спокойно:

– Жуликом тоже...

– Почто – жуликом? – смеясь и удивляясь, спросил дед.

– Ты – жулик, – кратко объяснил Ваня.

– Та-ак! – серьёзно протянул дедушка, прижимая к себе сухими руками ребят. – Это кто же говорит, что я жулик? Мама твоя, Любаша, а?

– Нет, – объяснила девочка, отрицательно мотая головой. – Это мужики кричали...

– Большушие такие мужики, три мужика, – добавил Ваня.

– Где же это они кричали-то?

– У монастыря...

– Мы шли в лес.

– Последний раз когда...

– Это они про меня, про Хряпова?

– Да-а, – сказала Люба. – Страшные мужики... такие. – Она нахмурила брови и надула щёки, изображая страшных мужиков, но Ваня не согласился:

– Вовсе не такие...

Соскочил на пол и, пошатываясь, размахивая руками, закричал:

– Жулик он, Хряпов, старый колдун...

– Пьяные, значит, были, – сообразил дедушка, вздыхая, спустился с лежанки и стал ходить по комнате руки назад.

– Н-да-а! Пьяненькие, господь с ними, – бормотал он. Потом тихо и гнусаво запел:

Свя-а-тый бо-оже,  
Свя-а-тый крепкий,  
Свя-а-а-тый бессмертный,  
Помилуй на-ас!

Его серые брови вздрагивают, а глаза как будто ищут чего-то на потолке и стенах.

Внук смущал деда, а дочь всё чаще и чаще ставила в трудные положения свою мать.

Однажды, когда ей было уже семь лет, лёжа в кровати, она обняла ручонками тонкую шею матери и сказала ей на ухо:

– А я знаю, что папа тебя не любит...

Варвара Дмитриевна вздрогнула, но не ответила ни слова.

– И меня не любит тоже.

– Спи, детёныш, – тихонько освобождаясь из объятий дочери, сказала мать.

– Это правда, мама? – спросила девочка, не отпуская её.

Мать, подумав, ответила:

– Правда, Люба. Он только себя хочет любить...

– Нет, – оживлённо и уверенно перебила её Люба, – он соседку Павлу Никаноровну...

– Кто тебе сказал? – с тихим отчаянием воскликнула женщина.



Большая любовь. Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Нифонтова Маша. И Нифонт тоже говорил, что папе надо тебя любить, как он Машу любит, и сказал, что папа злой дурень...

Люба говорила спокойно, без волнения, но в голосе её заметно звучала обида. Она скоро уснула, а мать, заложив руки за шею, долго сидела у кровати, глядя в потолок, не шевелясь и словно не дыша. Порою из глаз выбегала скупая, светлая, холодная слеза, катилась медленно по бледной щеке и падала на кружево капота. Под утро пришёл муж, он, раздеваясь, толкал ногами стулья, отдувался, икал и ворчал.

Она дважды осторожно подходила к двери в соседнюю комнату и, закусив губы, стояла перед нею минуту, пять. Потом он захрапел, громко и жирно.

С этой ночи Варвара Дмитриевна стала относиться к дочери, как ко взрослой.

– Я, вероятно, нехорошо делаю, Люба, – говорила она ласково и серьёзно, – но я не умею, не могу иначе, я должна, мне кажется, всё говорить тебе, на всё отвечать. Может быть, это вредно и отнимет у тебя весёлость лучших лет жизни, убьёт тебе душу, – но я не знаю, не знаю, как быть!

Девочка немножко волновалась и покровительственно утешала мать, чувствуя её боль и отчаяние.

– Ты не бойся, мама, пожалуйста!

И мать, подчиняясь её ласкам, любящему взгляду синих глаз, серьёзному выражению лица, словно теряла ощущение расстояния между собой и дочерью. Каждый вечер, укладываясь в постель, Люба просила:

– Ну иди, мамочка, садись, говори! Скорее!..

В исходе девятого года своей уродливой жизни Варвара Дмитриевна слегла в постель, провалялась года два в бесплодной борьбе с какой-то тихонько разрушавшей её болезнью и однажды ночью незаметно никому умерла.

Матушкин, толстый, краснорожий, с выкатившимися от скуки и пьянства глазами, долго смотрел на маленький сухой труп, крепко потирая лоб.

#### Примечания

Отрывок текста от слов «...Летом Варвара Дмитриевна...» до слов «...с непогасшей улыбкой на лице» впервые напечатан, под заглавием «Из повести «Большая любовь», в сборнике «Белый цветок», изд. Общества борьбы с туберкулёзом. Полтава 1912, и в газете «Правда», 1913, номер 1/205, 1 января, под заглавием «Большая любовь» с подзаголовком «Отрывок повести» и ссылкой на первую публикацию.

Остальная часть произведения печатается впервые.

«Большая любовь» – начало задуманной М. Горьким третьей части произведения об Окурове (см. примечание к «Городку Окурову»). Повесть осталась незаконченной.

Первые упоминания о повести «Большая любовь» содержатся в письмах М. Горького, относящихся к концу 1909 и к 1910 г. В одном из них писатель говорит о своём замысле написать повесть о русской девушке – носительнице «большой любви».

В другом письме М. Горький, сообщая о своей работе над повестью, центральными образами которой будут мать и дочь, говорит о необходимости воспитания у детей «большой любви». «Большая любовь» – это любовь к родине, любовь к своей нации и человечеству. Ей присущи вера в силу человеческого разума, искреннее удивление перед красотой души человека.

В письме к одному из редакторов журнала «Современник» в декабре 1909 г. М. Горький рассказывал о работе над повестью и говорил, что ему понадобятся тысячи слов нежных и простых и тысячи – смешных и гневных.

В сохранившейся рукописи текст повести «Большая любовь» заканчивается словами: «Ну иди, мамочка, садись, говори! Скорее!..». Последние два абзаца написаны на отдельном полулисте. Сохранились также две отдельные записи М. Горького, почти совпадающие по содержанию, которые можно рассматривать как наброски к повести

Большая любовь. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
«Большая любовь». Приводим одну из них:

«Из рассказа «Большая любовь»

Девушка говорит человеку, который кажется ей достойным её внимания:

– Мне хотелось бы сказать вам какие-то новые, большие слова о родине, о том, как надо её любить, как нужна ей наша любовь, пусть – маленькая, но – любовь!

Доктор, немножко прищурился, смотрел на её шею и думал: «Она и кокетничает оригинально, плутовка!»

– Говорите вы, говорите, а всё не о том, всё – мимо, – сказал Кожемякин, покачивая большой головой. – Не по росту вам, сударыня моя, слова эти – родина, любовь и прочая...»

Слова, случайно пропущенные автором, отсутствие которых затрудняет понимание текста, помещены в прямых скобках. Заключённый в ломаные скобки текст – 24 строки и 16 строк на двух страницах, – вычеркнутый М. Горьким в рукописи, приводится, чтобы не нарушать связности повествования.

Произведение «Большая любовь» в собрания сочинений не включалось.

Печатается по рукописи (архив А. М. Горького); ранее опубликованный отрывок повести – по тексту, напечатанному в газете «Правда».

Сноска

1 Селадон – в одном из значений – человек, обычно пожилой, который любит ухаживать за женщинами, волокита – Ред.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!